

Сергей Пролеев

ТАМ, ГДЕ СМЕХА НЕТ

Начну с маленькой логической экспозиции вопроса. Что означает определение «там, где смеха нет»? Речь не идет о ситуациях, в которых смех не звучит, просто отсутствует. Нет его, но мог бы быть. «Там, где смеха нет» обозначает топос, где смех радикально невозможен, в отличие от всего, где он *может быть*.

«Возможность» или «невозможность» смеха не может быть понята как его *уместность* или *неуместность* – как обозначение модуса существования смеха: к месту он или не к месту, приемлем или запрещен. Речь идет о другом. Где «смеха нет», там не только смех не звучит (но мог бы прозвучать! хоть и оказаться некстати), но где его и *быть не может*. Выражением «где смеха нет» обозначено подлинное *небытие смеха*.

Последнее вводное замечание. Небытие смеха нельзя понять как его противоположность, противостоящую области существования смеха. Действительными, содержательными противоположностями смеха являются иные сущности: плач, серьезное, трагическое (если смех мыслится в эффекте комического). Всё это величины – в том числе и сами смехи – так сказать, посясторонние. Они, при ближайшем рассмотрении, оказываются взаимобратимыми и комплементарными сущностями. Напротив, с речью о том, где смеха нет, мы оказываемся по ту сторону представимого существования. Вообще говоря, оказываемся вне мира, поскольку – как я это обосновывал раньше – смех, понятый как смехи, *повсеместен*. Следовательно, «там, где смеха нет», выводит нас за пределы всего. Вне всего мы оказываемся нигде. Осталось выяснить, имеет ли это «нигде» какой-либо смысл.

Теперь я приступаю собственно к изложению и начну его с утверждения, которое в свете вышесказанного не должно никого удивить: *Всё на самом деле смешно*. Когда мы обращаемся к природе смеха, важнее всего определить, где мы при этом оказываемся. некогда Демокрит определил смех как метапозицию, позволяющую окинуть мир единым взглядом, во всем усматривающим ложность и неподлинность существования. Другой греческий философ соединил ту же метапозицию с плачем. Но когда мыслитель уже эпохи модерна равно отверг как Смеющегося, так и Плачущего философов своей максимой: «Не смеяться, не плакать, но понимать», было положено начало размежеванию, которое воспроизведено и в названии нашего сборника: «Смешное и серьезное».

Новое время лишило смех онтологического веса, сослав его в область эмоций. Все, что существует – серьезно. Серьезно все, что сопряжено с достоверностью и ответственностью. В современном мире обязательств и долга – вспомним хотя бы этику Канта – смех выглядел лишь эпифеноменом.

Ни для чего он не мог стать точкой отсчета. В серьезном мире современности смех – всего лишь момент перехода. Он не имеет своего места, существуя лишь как смена мест. Смехом освобождаются от серьезности, чтобы в нее тут же вернуться. Смехом обличают и ниспровергают, чтобы водрузить на очищенном месте нечто вовсе не смешное. В смехе не пребывают – от него бегут. Один из наибольших страхов – оказаться смешным. Перед этой опасностью содрогнутся даже настоящие герои.

По логике вещей мне бы следовало обличить тривиальную оппозицию смешного и серьезного. Обличить ее коварную банальность и самоочевидность. Потому что в этой очевидности, которую все мы принимаем за нечто само собой разумеющееся, заключен вопиющий обман и подмена. Но всеобщий успех этого незатейливого обмана столь комичен, что дух обличения тут явно некстати.

Дамы и господа, каждый, кто внушил вам мысль о том, что противоположностью смешного является серьезное, вас несомненно обманул. На самом деле смешное и серьезное – это близнецы-братья, которые играют в чехарду жизни. А в эту игру – то есть в чехарду – как известно, в одиночку сыграть труднее, чем барону Мюнхгаузену вытащить себя за волосы из болота. Болота той же жизни, надо думать.

Поэтому я и начал статью с ясного заявления: «Все на самом деле смешно». Все *серьезное* на самом деле смешно.

Коль скоро так, то что, если не серьезное, составляет истинную антитезу смешного? Ту, которая не является динамической противоположностью и в конечном счете опорой смехов, а радикально исключает их.

Ответ очевиден: печальное.

Однако этого слова явно недостаточно. Оно служит лишь началом путеводной нити. Потому что и печаль современным сознанием сослана в область эмоций – всего лишь реакций, а не самого бытия. Наше мышление привыкло двигаться силой антитез. Смешное – серьезное, комическое – трагическое, высокое – низкое. Так же и печаль вызывает в сознании свою противоположность. Как в песне «все пройдет, и печаль, и радость...». Печаль и радость. Однако истинной противоположностью радости является не печаль, а горе. Печаль всего лишь символ горя, его сопутствующий признак.

Отождествлением смешного и серьезного мы уже освободили смех от печати эмоций, вернув ему онтологический смысл. Ведь, согласимся, бытие вещь серьезная, и соединившийся с серьезностью смех сам стал бытием. Осталось вернуть онтологический смысл печали.

Видимо, вы ожидаете, что в пару к уже обретенному понятию бытия, сопряженного с чехардой смешного и серьезного, я их антитезу – печаль – соединю с небытием, сиречь смертью? Ход, напрашивающийся сам собой.

Я не прибегну к нему не из стремления избежать банальности, а потому что иного требует суть вещей.

Печальное укоренено не в небытии. Оно – знак невыразимости того, чем мы живем. Им заявляет себя невозможность одного живого существа разделить свою жизнь с другим.

Мы живем в смешном серьезном мире, погруженном в неизбывную печаль, о которой не произносится ни слова.

Опыт неизъяснимого является самым фундаментальным. То, что каждый остается с ним и в нем, в неизъяснимом, делает его опытом печали. Печальное суть не чувство, не эмоция, а действительность, куда смеху доступа нет. Это утверждение может показаться противоречащим тому, что я ранее утверждал о природе смеха. Напомню, что мной отстаивался тезис о том, что смеха нет, а существуют лишь *смехи*, которым доступны все жизненные состояния человека [2, с. 55–56].

Если печаль рассматривается лишь как чувство, эмоциональное состояние, она безусловно подпадает под действенность смеха. Печальный смех в этом смысле столь же законен, как и любой иной.

Однако нас интересует тот топос бытия, где воистину «не до смеха», куда смеху нет доступа и где его, следовательно, нет вовсе. Классическая эстетика четко и ясно решила этот вопрос, введя контрверзу комического и трагического. Реальность, конституирующим началом и основой которой является смех, была противопоставлена трагическому, относительно которого смех не имеет конститутивного эффекта (хотя и может присутствовать как факт).

Я предложил деконструкцию феномена смеха, заместив его *смехами* как множеством разнонаправленных интенций, не имеющих общего смыслового знаменателя. Благодаря этой оптике смех предстал не локальным, а впервые поистине универсальным, всеохватывающим значением – возможным смысловым горизонтом всякой и каждой ситуации человеческого бытия.

Теперь я как будто вознамерился изменить самому себе и низвергнуть свою же позицию, открыв место, смеху *не доступное*. И, тем самым, как будто дезавуировав универсальность смехов.

Я продолжу свое рассуждение в силовом поле трех проблематизаций. Еще раз их назову: первая проблематизация связана с притязанием печали запечатлеть небытие смеха и необходимости для этого выйти за пределы печали как чувства. Ибо, повторюсь, печальный смех не менее действителен, чем веселый или радостный. Вторую проблематизацию задает эстетическая категоризация трагического и комического с конститутивным значением смеха для последнего. Быть может, это классическое решение вполне дееспособно и сейчас? Тогда классическим ответом на поставленный вопрос о небытии смеха будет трагическое, парафразом коего служит

«серьезное» в теме нашего издания. И, наконец, третья проблематизация касается прежде обоснованной мною универсальности смехов, которая как будто вообще не допускает топоса, где возможность смеха была бы упразднена сущностным образом. Итак: (1) к какому бытию (или все же небытию) отсылает печаль, (2) не можем ли мы в разрешении вопроса о небытии смеха удовлетвориться классической контрверзой комического и трагического, и (3) не отрицает ли сама идея «места без смеха» его, смеха, универсальность? – вот три вопроса, которые определяют последующие рассуждения.

В качестве теста на правомерность предложенного мной теоретического решения я использую известную концепцию смеха, созданную Бергсоном (см.: [1]). А. Бергсон выделяет три сущностные характеристики смеха.

Во-первых, смех является сугубо человеческим феноменом.

Во-вторых, он сопряжен с некой нечувствительностью, внутренне связанной с условностью комической ситуации.

В-третьих, смех всегда коммуникативен: он соотнесен с общностью.

Данные характеристики несложно опровергнуть. Но мы используем их, чтобы придти к отсутствию смеха. Совершив их последовательную деконструкцию, мы окажемся там, где *человеческого нет*, где *нельзя остаться нечувствительным*, где *отсутствует общность*.

Развернем эти три негативные определения. «Человеческого нет» означает то бытие каждого, где исчезают всякие определения.

Нечувствительным нельзя остаться к тому, что вообще не составляет *предмет* чувств, а есть *само живое*, которое чувствует. Это собственная жизнь каждого. Все чувствуется или не-чувствуется лишь благодаря ей и относительно нее.

И третье: невозможна общность в том, что мы *в принципе* не можем разделить с другим – например, свое рождение или смерть. Какова бы ни была причастность других, это – только *наши* события. Смехами мы соприсутствуем всеми, «находимся при-...». Следовательно, смех невозможен в чистом тождестве человека с собой (если вообще возможно такое тождество).

Как мы убедимся далее, топос, обозначенный словом печаль, полностью соответствует этим трем требованиям и – хотя бы относительно бергсоновской концептуализации – в полной мере являет небытие смеха.

Итак, печаль. Но есть ли печаль именно тем, о чем следует сказать? Нет, конечно. Она не составляет *сущность* бытия вне смеха. Она не есть само место, где смех отсутствует. Она столь же мало *граница*, ставящая предел опыту смеха. Печаль всего лишь символ, может, даже эмблема того, где отсутствует смех. Она отсылает к этому особому бытию, но сама им не является.

Что же это бытие такое?

Разумеется, там, где заходит речь о печали, мы как самый сильный ход привлекаем идею смерти. Смерть представляется самой весомой сущностью, способной утвердить печаль в ее онтологических правах и значимости.

Однако что за смерть имеется в виду? Великая тирания культуры давно и небезуспешно ввела смерть в область освоенного, превратив пусть и в грозный, но вполне укрощенный культурный код. Одним из ярких подтверждений этого являются признанные полномочия комического относительно смерти. Вспомним хотя бы такое явление, как «юмор висельника» или пласт культуры, связанный с «плясками смерти». Очевидно, что смерть, ставшая вполне определенным культурным кодом, не может послужить легитимации печали в ее ключевом антисмеховом значении.

Иное дело, если мы обратимся к экзистенциальному значению смертности, промысленному в первую очередь Хайдеггером [3, с. 237–266]. Здесь видна отчетливая путеводная нить, которая направляет нас к *собственности* (не хочу говорить самости) *человеческого существа*. Но смерть здесь не суть. Она всего лишь указание, отсылка к тому, что составляет *жизнь* каждого, его действительное присутствие на свете. И что даже поименовать сложно.

Есть то в бытии каждого, где заканчиваются и утрачивают силу все определения. Где каждый – неизвестно что и неизвестно кто. Некогда Кант вел известный концепт «вещи самой по себе», *Ding an sich*. Им он обозначил бытие, которое несомненно есть, но остается недоступным познанию. Подобное можно сказать о каждом. Это не каждый «сам по себе» или «в себе». Это «каждый-в-невыразимости»; каждый в том, что составляет его действительность, но что не может быть изъяснено, поименовано, названо.

Можно ли говорить об этом? Конечно, и опыт подобного говорения в изобилии представлен в культуре. Но поскольку неизъяснимое имеет значение лишь для того, кто его переживает, сколь угодно высказанное оно не имеет собственного значения. К этой действительности можно только отослать; она даже общего имени не имеет, ибо для каждого – своя. Поэтому, строго говоря, даже понимание здесь невозможно. Разве что – догадка. И я говорю об этих вещах только с надеждой на догадку – на то, что каждый из собственной действительности, догадается, *что* я имею в виду.

Эту неизъяснимость я назвал бы древним словом душа. Просто из желания интеллектуальной законченности. «Нефеш (хэй)» – «душа живая», как говорит Библия. Конечно, в подобном наименовании есть большой риск – огромное количество разнородных коннотаций способны смести «душу» с того значения, в котором я ее попытался установить. Но имперсональное «неизъяснимое» порождает свои интеллектуальные риски

и нравится мне еще меньше. Но все же вместо понятия души в силу его многозначности, я использую простое отсылающее наименование: «*неназванное каждого*».

При этом я уповаю на то особое движение себестождественности, может быть даже витальный рефлекс, который возникает в любом человеке при этом слове. Говоря «каждый», мы включаем механизм самоотнесенности, мы – может быть на мимолетный миг – улавливаем самих себя, в той непосредственности, сказать о которой так трудно. Все лишь, к сожалению, на миг, ибо и «каждый» тут же переводится в режим множества культурных кодов: «каждый человек», «каждое живое существо», «каждый – представитель ряда, имеющего это свойство» и т. д.

Хотя я и употребил выражения «неназванное каждого», «душа», на самом деле, признаться, не знаю для этого адекватного слова. Там, где нет места смеху, там любые артикуляции, в том числе слова, оказываются неуместны. Все, которые можно употребить – неизъяснимое, невыразимое, неизреченное и т. п. – беспомощны и неточны. Эти слова падают бессильно, как опавшие листья.

Я бы мог назвать это собственной жизнью каждого, но проблема в том, имеет ли каждый сапиенс собственную жизнь, и сверх того – даже имея ее, способен ли распознать, что именно *это* является его единственным собственным достоянием и, в конечном счете, его единственным действительным бытием. Поэтому приходится оставить область небытия смеха безымянной, очерченной лишь умолчанием и эмблематически обозначенной словом печаль. В котором, впрочем, нет ничего удручающего или унылого.

Скорее всего, я не дал полноценного ответа на первый из поставленных вопросов. Надеюсь, что хотя бы обратил внимание к вопросу и обозначил возможное направление поиска. Второй и третий вопросы – теоретически гораздо более легкие – я оставляю открытыми для последующей разработки.

1. Бергсон А. Смех.– М.: Искусство, 1992.– 127 с.
2. Пролесев С. Сміх і панування // *Дбџа / Докса*. Збірник наукових праць з філософії та філології.– Вип. 7. Людина на межі смішного і серйозного.– Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2005.– С. 51–58.
3. Хайдеггер М. Бытие и время.– М.: Ad Marginem, 1997.– 451 с.